

Мир писателя, — 1995. — 26 апр. — 13.

Сегодня, пожалуй, мало кто из писателей возьмется за традиционную прозу не о прошлом — о дне сегодняшнем. Г.Бакланов взял. И более того, главным героем сделал своего ровесника, литератора, и тоже, разумеется, фронтовика, который в августе 91-го по воле автора отправился вместе с сыном на баррикады к Белому дому защищать молодую демократию. И хотя роман публикуется в май-

ской книжке "Знамени" и получается, что к дате, он отнюдь не юбилейно-елейный — не увековечивающий-прославляющий-воспевающий. Напротив, на малой его площади завязан большой узел "острых" проблем, обрушившихся сегодня на наше общество. И не случайно, конечно, взгляд автора (и его героя) на эти проблемы имеет еще одно измерение — отсюда, из той войны.

— Григорий Яковлевич, что в вашей жизни — любовь? Может быть, неожиданно, что я хочу начать "разговор на фоне новой книги", имеющей тревожно-мрачное название "И тогда приходят мародеры", с этого личного и светлого вопроса. Но ведь в жизни героев вашего романа, и прежде всего сценариста Лесова, любовь играет колоссальную роль. Причем любовь многоликая. К жене, детям, ко всем поколениям семьи — от внуков до умерших родителей. Недаром в прологе он, двадцатилетний, возвратившись с войны в родной город, прямо с вокзала устремляется на кладбище и, найдя дорогие могилы, обращается к отцу и маме, как будто они услышать его могли: "Я вернулся. Мы победили". А следом за этим прологом идет глава, где Лесов предстает уже спустя сорок с лишком лет в любовной сцене с Машей. Третий год они встречаются, всякий раз — будто заново. У нее муж, которого она не любит и от которого, по-видимому, не уйдет, сын, которого она обожает. У него — семья.

— У Маши болевая голова: к перемене погоды, должно быть. Она легла щекой к нему на колени, поджала на диване босые ноги в синих вельветовых джинсах. Лесов пощупал ру-

жалею, не дал мне Бог ребеночка от старшего лейтенанта Лесова". "Одни в огне горят, другие от огня руки греют", — говорит она о ситуации, когда комбат Лесов, дот уничтоживший, раненный в грудь, не дождавшись помощи, о которой просил, и с боем выведя людей из окружения, был обвинен в измене Родине. "Его расстреляли, чтобы себя выгородить", — убеждена эта несчастная женщина, бывшая радистка его батальона. Как в песне Окуждавы: "Чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет".

Григорий Яковлевич, вы дали литературному персонажу только имя своего брата, и эта страшная история не его судьба, она — художественный вымысел?

— Все было именно так, но не в моем родном братом. Сорок лет я не знал, где погиб он, студент истфака МГУ, в первые же дни войны ушедший в московское народное ополчение. Он был командиром орудия. И вот отыскался его однопольчанин и сообщил, что, выходя из окружения, они вместе перешли реку Угру, надо было пойти в разведку, узнать, есть ли в деревне немцы. Юра пошел. И погиб. А искаленная женщина — у меня и сейчас перед глазами та сцена, которую я написал в романе. Вскоре после войны зашел как-то в жару в дешевое кафе у рынка. Сидят две

гласованной и прочерченной на карте черте войска встали, разрезав страну и судьбы людей: часть Польши отошла к рейху, а Западные Украина и Белоруссия — к нам. И будто бы определили день и час, до которого разрешалось еще выбирать, с кем жителям быть. И вот под надзором немца-пограничника прощаются девушка-полька и парень-еврей и все не могут расстаться. Но только наконец юноша поставил ногу на педаль велосипеда — немец тут же сцапал его. Уж как она умоляла, а он все на часы показывал, мол, нет, не просрочил, имеет право. Немец и часы с него снял: право — сила, жизнь и смерть сейчас были в его руках. Мог бы наш пограничник заступиться: ладно, мол, отпусти, чего уж... И вдруг тот бы отпустил. Или бы нарочно не отпустил, явив в своем лице непреклонность, силу, германскую и мощь: чтоб знали. История была подлинная, но вышло за ней многое: раб, ставший господином. Эту историю ему очень хотелось прочесть Маше. Не успел. Он словно предсказал на бумаге конец своей любви. Свой конец. История как бы ахулялась, когда вскоре его собственные жизни и смерть оказались в руках новых хозяев жизни. Покупая Маше розы, он увидел, как невысокого роста морского офицера окружили трое в сапогах, в черных кожаных куртках. Особая стойка — ноги расставлены, руки за спину. Вот так на платформе, когда прибывал состав и испуганных, озирающихся людей выталкивали из вагонов, стояли эсэсовцы с плетками за спиной,

всем. Как пришло — жизнь сама учила. Мы вернулись победителями, не зная, какой ценой досталась нам наша победа. Уж я повидал и смертей, и полей боев, где убитые лежали чуть не на каждом метре, но осознания, что этого могло не быть, тогда не возникало. А ведь тянется длинная цепь истребления народа начиная с гражданской войны, с лагерей. По-моему, это в воспоминаниях маршала артиллерии Воронова: немцы уже подошли к Москве, винтовки не хватало и решался вопрос, кому дать — дать ли их дивизии, которая идет на фронт, или дивизии Берин, охранявшей лагерь.

— Свой враг страшен был по-прежнему?

— Да, внутреннего врага, то есть народа своего, власть наша всегда боялась больше, чем внешнего. И во время войны продолжали истреблять свой народ в лагерях. Так, как уничтожала его наша власть, ничего подобного в мировой истории не было. Мы победили буквально через силу. До войны было уничтожено сорок три тысячи офицеров. Чтобы подготовить майора, насколько я знаю, нужно восемь лет. Все наши маршалы учились воевать на фронте. Сколько же надо было положить солдатских жизней, чтобы дать время генералам научиться воевать! Повторю, мы вернулись, не зная всего этого, но уже чувствуя себя людьми, которые вправе рассчитывать на другую жизнь. На то, что будут уважать. И уже к самим себе возникло уважение. А между тем готови-

можно завидовать, — сказал Лесов, — от Волги, от Москвы и по всей Европе кости их лежат непохороненные. Почти полвека прощало, одному неизвестному соорудили вечный огонь, а всех земель отдать — чести им много". Это была всегдашняя его мысль, всегдашняя боль: может, и Юра вот так же остался лежать, непохороненный. А у Дармодехина — своя правда: такую победу пустить по ветру! А ничего другого и не могло быть, не сегодня это случилось, сегодня — итог. Победителями мы были там, шли Европу освободить от фашизма, а себя освободить не смогли".

Жена Лесова говорит в романе о русских фашистах: "Наши фашисты лучше немецких? Хуже! Для тех мы были скот бессловесный. Дикая страна под соломенными крышами... А эти свои будут уничтожать беспощадно". Как вы считаете, Григорий Яковлевич, фашистская угроза — это реальность или опять-таки наш непобедимый страх?

— Не думаю, что просто страх. Угроза реальная хотя бы по двум причинам. Болезни в обществе всегда есть, но в здоровом организме они не развиваются, а поскольку организм разрушен и никак не придет в норму, то эта питательная среда способствует росту заболевания. Кроме того, в нашем больном обществе немало оказалось людей уязвимых, с рабским сознанием, уверовавших в силу одного лишь кулака, склонные к тому, чтобы встать в ряды железной когорты.

— Но примет ли многоликая Россия фашизм? Не произойдет ли на этой почве ее распад?

— Примет или не примет, что сейчас гадать. Некоторые вещи насильственно совершаются под прикрытием слов о демократии и свободе. Разумеется, этим не сплотить, и потому распад как раз первое, что может произойти. Выбраться из рабских пут, расстаться с самими собой прежними оказалось ох как нелегко! Да я это и по себе чувствую. До подлинной свободы добираться еще долго придется. Говоря о свободе, я имею в виду, конечно, не ту вседозволенность, которая проникла сегодня даже в литературу.

— И в литературе о любви тоже. Любви без любви, когда вещь, поименованная "художественным произведением", не что иное, как сексологическое или гинекологическое пособие.

— И потом — существовало же нормальное понятие "непечатные слова". Сейчас и это дозволено. Пожалуйста! И молодые писатели стараются не отстать. Сказать откровенно, стыдновато. Не эту расплахнутость я имею в виду, говоря о свободе, а иной, свободный взгляд на мир, на себя в мире, с которым уже живут наши дети.

В романе Лесов говорит сыну: "Вот ты и Даша. И мы с матерью. Это не разные поколения, это разные эпохи. Вы еще не свободными родились, но нашего страха в вас уже нет. Черный день настал, когда пришлось анкету заполнять. Сидишь перед ней, как перед следователем на допросе. Да это и был допрос, по сути дела, потому что она так составлена, что никто не мог чувствовать себя невиновным. И врать страшно, и не врать нельзя, если жить хочешь. Вся страна врал, каждому что-нибудь да было что скрывать. В сущности, я каждый раз от отца отрезался. Нет его, умер. Нет у меня отца, и я чест. Я как бы уже — проверенный. О-о, что значило быть проверенным. Это — даровано жить. А напиши как есть — отец был поручик царской армии, Георгиевский кавалер, лишенец, нас выслали в Курган... Все. Вдруг всюду закрыт. Сколько в последнее время вдруг повысилось дворян? И уже больше появляются. А священнослужителей потемневших! Где вы раньше, ребята, были все? А они еще недавно гордились своим рабско-крестьянским происхождением. Значит, чего мы с матерью больше всего боялись? Боялись, вырастаете вы с Дашей и спросите нас: как же в такой жизни, когда полстраны в лагерь, когда... Да что говорить! Как вы могли жить нормально, любить?"

— Отцы и дети — в нашем романе такой счастливый случай, когда эта вечная тема лишена конфликта, здесь полное взаимопонимание поколений. И как высшее проявление гармонии в отношениях старших и младших — сцены августовского путча, когда вся семья тревожилась за каждого, когда все вместе переживали события у Белого дома.

— Когда говорят: молодежь плохая, поколение хуже нашего, — значит, ты плох, твои пороки проявились в детях, потому что это редкий случай, чтобы дети совершенно не походили на родителей.

— А по-моему, такое встречается в жизни довольно часто.

— Значит, эти люди только казались нравственными, у подлинно нравственных родителей, с совестью и стыдом, в доме такая атмосфера, что дети не могут вырасти безнравственными.

— В вашем романе над всеми персонажами витает дух дома. И даже чувство к Маше не может поколебать привязанности Лесова к своей семье, его сраченности со своим домом. Дом, как и кладбище, где токи печности заставляют героя взглянуть внутрь себя, где происходит его разговор с самим собой, — два особых мира в романе.

— Почему только в романе? Дом — всегда особый мир. Если этот мир не состоялся, человек может оказаться даже и нравственным божом. В нашей сегодняшней смуте эти неукорененные люди — явление страшноватое. Они чаще всего неудачники в жизни, а неудачники, да еще с завышенными представлениями о себе — это люди несчастные, изгладненные завистью. Д.Гранин, по-моему, очень удачно как-то сказал: "Все у нас недовольны: продавец не чувствует себя продавцом, он чувствует себя не космонавтом". Впрочем, сейчас продавец становится героем нашего времени.

— Тогда я бы добавила: не президентом. Столько рвущихся сейчас к этому незavidно высокому креслу.

— И самое, может быть, неприятное, что среди тех, кто претендует на высшую власть, есть люди, которым мы верили, кого всегда считали порядочными и не думалось, что они, когда дело коснется должности, места в жизни, в умах людей окажутся сродни самым заурядным карьеристам и будут падки на лакомый кусок.

— А что делать, как жить в стране, когда приходит мародеры, вашему молодому герою с замечательными традициями отца и деда? Как ему жить?

— Ему — делать свое дело. Я не хочу никого учить и не имею права, я сужу по себе. Человек должен делать свое дело с полной ответственностью. К сожалению, толстовская мысль — она звучит в "Войне и мире", — что жизнь с ее интересами любви, семьи и т. д., шла независимо от примирения или непримирения Наполеона и Александра, — это не для XX века. В XX веке человек оказался слишком зависимым от наполеонов и наполеончиков, от политики, от государства. Во многих странах сегодня такой зависимости жизни гражданина от того, что происходит наверху, нет. А мы все смотрим вверх, все ждем, что просыплется на нас манна небесная. Не просыплется.

— Но вы ведь не хотите этим сказать, что мы должны быть равнодушными к политике? Общество наше только-только стало пробуждаться.

— Этого я сказать действительно не хочу. Я хочу сказать, повторяю, что каждый должен делать именно свое дело. И политики должны быть профессионалами, а не дилетантами и делать свое дело с ответственностью перед обществом. Помните чудный разговор Левина с плотником в "Анне Карениной", когда в строящемся флигеле рядчик испортил лестницу и пытается прибавить к ней три ступени? "Да куда же она у тебя выйдет с тремя ступенями?" — спрашивает Левин. "Как, значит, возьмется снизу, — ...пойдет, пойдет и придет". — "Под потолком и в стену она придет". Вот по принципу "пойдет, пойдет и придет" и начата была перестройка. Вот и пришли, отметили ее десятилетие чеченским кровопролитием, да только ли им?

— Я помню, вы давали еще в декабре Ельцину телеграмму: "Россия — великая, сильная страна, поэтому она может быть милосердной. Безмерно жаль молодые жизни. Пригласите Дудаева в Москву. Сделайте еще этот шаг. Верю, он будет оценен и помят".

— Я и сейчас убежден, что все можно было решить миром и тысячи людей остались бы живы. А война несет не только убийства, но и разжигает взаимную ненависть. Она обрушилась даже на мужественного, честного подвижника Сергея Адамовича Ковалева. Его оценят позже, как слишком поздно оценили Сахарова.

— Ну и как же будет жить ваш молодой герой?

— В такие времена человеку оставаться самим собой очень трудно. А надо. Надо, раз ты — человек.

— Григорий Яковлевич, если бы вам представилась возможность 9 мая обратиться со своим словом к народу, что бы вы сказали?

— Помните "Песнь о Гайавате" в бунинском переводе?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной.
От молота о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе...

Вот и я бы, пожалуй, обратился к живущим в России: перестаньте тянуть каждый к себе, разрывайте ее на куски. Если вы действительно любите ее, хотите, чтобы она не канула в бездну, чтобы жизнь продолжалась, уйдите страсти. Хотя бы во имя детей своих и внуков!

— А вы можете вспомнить, что делали на следующий день после того, как сдали в журнал рукопись романа "И тогда приходят мародеры"?
— Обрезал яблоно. И как раз день выдался хороший. И на душе легко было. Эта яблона — моя любимая, я в дичок, в росток однолетний привил ее и вырастил.



Фото Александра Карзанова

кой ее ступни, они были ледяные, стянул с себя свитер, и она просунула ноги в теплые его теплом рукава. Большим гребнем он расчесывал ее волосы, они потрескивали, искрились. "...О, сколько в тебе электричества..."

— Что в вашей жизни — любовь?
— Любовь — наверное, главное. Главное. Потому что человек держится на земле именно любовью. Она дает силы, робкого делает смелым. И она действительно многолика. Не случайно старшему брату своего героя — а он долгие годы пытался узнать, как погиб брат, — я дал имя Юрий. Так звали моих братьев, родного и двоюродного.

— Помню, как я восхищалась не известным мне тогда автором, который в 57-м году посвятил свою первую военную повесть "Южнее главного удара" "памяти братьев Юрия Фрийдмана и Юрия Зелкинда, павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне". Это посвящение не только являло всем национальностью прозаика, но и звучало как вызов государственному антисемитизму. И я помню еще, кстати, что очень радовалась, услышав спустя время отзыв об этой вещи, воскрешающей жестокие бои в Венгрии в 44-м, В.Быкова, в ту пору тогда офицера-артиллериста, всевавшего там же — у Секешферхваря: "...С благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть Г.Бакланова, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся".

В новом романе гибель Юрия Лесова имеет особую трагическую масштабность и, я бы сказала, даже многомерность. Ибо обнаруживает и героическое мужество, подлинную человеческую высоту этого интеллигентного и одновременно подлунного, низкую душонку, предельную бесчеловечность того, что стал его палачом. Но об этом, страшно, Лесов так и не узнал и числил заместителем генерального прокурора Столярова, погубившего Юрия, среди своих знакомых, он даже был консультантом фильма по его сценарию. И оттого еще история гибели брата обретает столь огульное звучание, как рассказана женщиной, вернувшейся с фронта без обеих рук ("Мать боялась, руки на себя наложу, да нарочить-то нечего" — мороз по коже дерет от этих ее ироничных слов). Женщины, видимо, очень его любившей (опять к вопросу о любви в романе, недаром же она признается: "Об одном

женщины, и вдруг меня как ударило по глазам: у одной короткие рукава платья — пустые. Подруга кормила ее с ложки. Вот осталась жить, думал я, а как же она справляется, ведь даже поест, одеться, причешется и, то...

Тоска по брату — это прошло у меня через всю жизнь, но особенно остро я почувствовал, когда родились мои дети. Вот так могли быть на свете и его сын и дочка! Не думаю, что это только меня мучало и мучает. Алесь Адамович рассказывал мне (и об этом, если не ошибаюсь, есть в "Я из огненной деревни"), как соединялись уцелевшие жители сожженных деревень. У него погибли жена и дети, у нее — муж и ребенок. И рождалось у них столько же детей, сколько было раньше. У людей, переживших подобную горе, любовь к детям, внукам особенно обострена: однажды пережитое несчастье может когда-нибудь повториться. И на фронте любовь была пронзительной из-за постоянного ожидания возможной скорой утраты. Смерть ходила рядом. Любовь и смерть. Чувство Лесова к Маше тоже вспыхнуло в тот период, когда уже поневоле думается о конце земного пути. Последняя любовь. Она грустная и сильная, хотя и юношеская иногда проходит через всю жизнь.

— Не помню, у кого я когда-то прочитала, что мужчины любят в своей жизни трех женщин: первую, последнюю и единственную. Одна в трех ипостасях — такое, наверное, бывает все же только в воображении. Маша могла быть у Лесова и последней, и единственной сразу. Но вот что мне увиделось, так это переключка истории смерти Лесова, спешащего на свидание к Маше, которое, по-моему, должно было стать расставанием с ней — нет Маши, нет и жизни, — с историей другой, им же самим сочиненной. Лесов писал, как ему виделось, книгу историй простых людей, чьи судьбы переплелись кровавыми двадцатый век.

Одна история относилась к сентябрю 1939 года, когда немцы вошли в Польшу и началась вторая мировая война. А мы, выйдя в то время, двинулись с Востока и по заранее со-

Григорий БАКЛАНОВ
в беседе
с Ириной РИШИНОЙ

И тогда приходят мародеры

Разговор на фоне новой книги

каменно расставив ноги, — эти военные кадры запечатлелись навсегда. Лесов крикнул издали: "Старший лейтенант, ты не один". И устремился к нему. Позвякивая подковами сапог, тройка уходила не торопясь. "Чего они привалялись?" — спросил Лесов. "Да не из-за чего. В драку ввязаться на глазах, чтобы народ их боялся. Власть их не трогает. Вон милиционер, они знают, не подойдет... Человека убьют, опять же им ничего не будет. Не найдут никого". Через несколько минут, перегорев Дармодекову дорогу, они так свистелись убивают его, что потом в море сын отыскал отца только по наклейке на плече, — лицо в корке застывшей крови было неузнаваемо.

Вашему роману, Григорий Яковлевич, свойственна — не знаю, намеренно или нет, — заковычанность, переключки сюжетов, эпизодов, и она явно несет смысловую нагрузку. Например, кладбище, Лесов вспоминает о том, как мать ходила на могилу к отцу, разговаривала с ним; в последней главе на могилу Лесова приходит жена. Его нет, но жива ее любовь к нему, и она, как прежде, говорит с ним.

— Я не думал об этом... Вы правы: стержень произведения — любовь. Любовь к жизни, к жизни как таковой, которая уничтожалась и которая побеждала. Излишне говорить о любви к отечеству, когда известно, что все поколение девятнадцати-, двадцатилетних встало на его защиту. Многие из этих мальчиков только и успели в своей жизни сделать — заслонить собой отечество.

— И вы ведь из этих мальчиков, которые правдами и неправдами пробивались на фронт. В вашем старом "невьдуманном рассказе" "Как я потерял переносную" сквозь иронические штрихи к автопортрету проступает типичный образ "школяра":

"По прошествии многих лет могу свидетельствовать с полной объективностью: это было жалкое зрелище... Когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутой ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: "Господи, и таких уже берут..."

— Меня вот недавно спрашивали: а как пришло к этому поколению прозрение? Пришло оно, разумеется, далеко не ко